

С. А. Фомичев

ПУШКИНСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА


ЗНАК
Москва
2007

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПУШКИНА

Предуэльные события последних месяцев жизни Пушкина в их трагической ретроспективе нередко засвечивают для нас это основное направление его деятельности. В поисках «ключа» к его «загадочным произведениям» этого времени принято, как правило, иметь в виду дуэльную историю, как будто и в самом деле свет сошелся клином лишь на ней. Была предпринята попытка так истолковать и самое позднее произведение Пушкина — «Последний из свойственников Иоанны д'Арк».

В академическом пушкиноведении существует традиция начинать анализ пушкинского произведения с подробного изложения истории вопроса. В данном случае наша задача упрощается. Напрасно было бы искать название «Последний из свойственников Иоанны д'Арк» в «Указателе произведений Пушкина», заключающем реферативную пушкиноведческую монографию¹. Даже при неизмеримо большем ее объеме по поводу этого произведения могло быть отмечено выявленное в пушкиноведении лишь только одно традиционное заблуждение: напечатанный в первом посмертном томе пушкинского «Современника» рассказ почти в течение века молчаливо оценивался в качестве проходной заметки-хроники, излагающей содержание некоей публикации в английском журнале «Morning Chronicle», пока Н. О. Лернер и Н. К. Козмин не обратили внимания на то, что это не что иное, как пушкинский пас-

¹ См.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 662.

тиш — мастерская стилизация не существовавшей в природе газетной хроники². Пушкин, оказывается, мистифицировал читателей. С какой целью? Ответ на этот вопрос никто не пытался дать вплоть до 1970-х годов, пока Д. Д. Благой не оценил пушкинскую статью как мстительный выпад против Геккернов, посягнувших на честь поэта:

...Сливая в «двуединое существо» того и другого Геккерна — вольтерьянствующего аристократа, циника и злоязычника, лишенного не только чувства чести, но и вообще каких-либо моральных устоев, «старичка»-«отца» и его «так называемого сына» — наглеца и труса, каким представлялся он Пушкину, «француза» (так порой для краткости именовали его современники) Дантеса, и сконструировал Пушкин синтетический образ «Вольтера» в своей статье-мистификации.

Этим личным выпадом, считает Д. Д. Благой, дело не ограничивалось: в лице Геккернов удар поэта направлялся «окружавшему его придворно-светскому обществу, лишенному чести, патриотизма, гражданского чувства, готовому позорить и высмеивать все самое святое, что есть в мире и человеке»³.

Нельзя сказать, чтобы точка зрения авторитетного пушкиниста была активно принята в пушкиноведении⁴, но

² См.: *Лернер Н. О.* Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 190—198; комментарий Н. К. Козмина в кн.: *Сочинения Пушкина*. Л., 1929. Т. 9. С. 982.

³ *Благой Д. Д.* Душа в заветной лире: Очерки жизни и творчества Пушкина. 2-е изд., доп. М., 1979. С. 495, 497.

⁴ Впрочем, в последнее время к сходным выводам пришел писатель А. Битов в статье «Предположение жить» (*Звезда*, 1986, № 1. С. 162—170). Заметим, что отождествление пушкинского «Вольтера» в «Последнем из свойственников» и реальных Геккернов некорректно хотя бы уже потому, что в данном случае предполагается сознательное пушкинское искажение исторического лица, подобное кощунственной насмешке над Жанной д'Арк в вольтеровской поэме.

иное прочтение «Последнего из свойственников...» было предложено в научной литературе лишь О. В. Червинской, которая сопоставила это произведение с другими пушкинскими сочинениями последних лет и отметила психологическое родство пушкинского Дюлиса-отца с Белкиным. «По нашему мнению, — замечает исследовательница, — архитектоника “Последнего из свойственников...” — это композиционный эксперимент, в котором автор сознательно меняет ракурсы восприятия, чтобы дать возможность читателю увидеть образ по крайней мере в трех измерениях: как субъективное “я”, субъективное “не-я” и объективно. (...) На наш взгляд, это произведение по внутреннему замыслу (...) совершенно оригинальная жанровая разновидность новеллы»⁵.

В своем пастише Пушкин поочередно дает слово трем разным героям. Каждый из них говорит и действует сообразно с собственными представлениями о чести. Автор же выступает в роли журнального хроникера, вводящего читателя в курс дела. Посмотрим, как это делается:

В Лондоне, в прошлом 1836 году, умер некто г. Дюлис (Jean-François-Philippe-Dulys), потомок родного брата Иоанны д'Арк, славной Орлеанской девственницы. Г. Дюлис переселился в Англию в начале французской революции; он был женат на англичанке и не оставил по себе детей. По своей духовной назначил он по себе наследником родственника жены своей, Джемса Белли, книгопродавца Эдимбургского. Между его бумагами найдены подлинные грамоты королей Карла VII, Генриха III и Людовика XIII, подтверждающие дворянство роду господ д'Арк Дюлис (d'Arc Dulys). Все сии грамоты проданы были с публичного торгу, за весьма дорогую цену, так же как и любопытный автограф: письмо Вольтера к отцу покойного господина Дюлиса (XII, 153).

⁵ Червинская О. В. Смысл последней пушкинской мистификации // Вопросы русской литературы. Львов, 1983. № 2 (42). С. 74.

Всего один абзац, но как масштабно намечена здесь панорама событий и лиц, определяющих сюжет повествования! Три исторические эпохи: время Жанны д'Арк (начало XV века), Французская революция и современность — не просто упоминаются, но взаимодействуют. История одного из дворянских родов Франции прослежена пунктиром в главных и промежуточных звеньях: недаром здесь говорится о грамотах Карла VII (XV век), Генриха III (XVI век) и Людовика XIII (XVII век). За каждым из этих имен угадываются важные исторические вехи (как это показано, например, в «Родословной моего героя», напечатанной в т. 3 «Современника»). Скупно, в стиле журнального репортажа обозначен парадокс судьбы Дюлисов: героическое начало их рода относится к эпохе Столетней войны, а бесславное угасание — к эпохе Французской революции. От «ее ужасов» родовитый потомок крестьянина, брата Жанны д'Арк, бежит в Англию, повинную в смерти его «славной прабабки»; здесь наступает его окончательное обмещанивание: женьтиба на англичанке из буржуа.

Когда-то в очерке «Путешествие в Сирей» (1815) К. Н. Батюшков с горечью писал о Франции: «〈...〉 целые замки продаются на своз и таким образом вдруг уничтожаются драгоценные исторические памятники 〈...〉 для нынешних французов нет ничего ни священного, ни святого — кроме денег, разумеется», — моралистически отмечая в этом «верный знак 〈...〉 легкомыслия, суетности и жестокого презрения ко всему, что не может насытить корыстолюбия, отца пороков»⁶.

Внешне похоже звучит и пушкинское замечание: «Все сии грамоты проданы были с публичного торгу, за весьма дорогую цену», — но ни персональной, ни национальной вины Пушкин не акцентирует: это печально, но таков немолимый «судьбы закон». В «Родословной моего героя» поэт посетует:

Мне жаль, что нашей славы звуки

⁶ Батюшков К. Н. Сочинения. М.; Л., 1934. С. 310.

Уже нам чужды; что спроста
Из бар мы лезем в *tiers-état*,
Что нам не в прок пошли науки,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто (III, 427).

В концовке очерка «Джон Теннер» Пушкин покажет, к чему ведет голая предприимчивость, лишенная исторических преданий и национальных заветов.

Именно за счет столь широко намеченного исторического фона трагикомическая стычка Дюлиса-отца с Вольтером возбуждает целый спектр нешуточных раздумий о столкновении «века нынешнего» с «веком минувшим».

Прежде чем предоставить слово Дюлису-отцу, «эдимбургский журналист» сочувственно его характеризует:

По-видимому Дюлис-отец был добрый дворянин, мало занимавшийся литературою. Однако ж около 1767-го году дошло до него, что некто *Mr. de Voltaire* издал какое-то сочинение об орлеанской героине. Книга продавалась очень дорого. Г. Дюлис решился однако же ее купить, полагая найти в ней достоверную историю славной своей прабабки. Он был изумлен самым неприятным образом, когда получил маленькую книжку *in 18*,⁷ напечатанную в Голландии и украшенную удивительными картинками. В первом пылу негодования написал он Вольтеру следующее письмо, с коего копия найдена также между бумагами покойника (Письмо сие так же, как и ответ Вольтера, напечатано в журнале *Morning Chronicle*) (XII, 153).

Заметим, что это также текст от автора, но как будто нарушающий общий хроникальный стиль журнальной заметки, так как вся содержащаяся здесь информация (а журнальная публикация внешне больше ни на что не претендует) отчасти выясняется из нижеприведенного письма Дюлиса-отца, а в остальной своей части содержит художественный вымысел. Откуда, скажем, автору знать, что письмо было

⁷ Это описка. Реальные размеры книжечки – in 8.

написано не по долгому размышлению, а в «первом пылу негодования»? Нам предлагается словно бы увидеть, как герой, решившийся на очень разорительную покупку, ожидает соответствующий цене солидный фолиант, получает же маленькую книжечку⁸, недоуменно перелистывает ее, с удивлением обнаруживая фривольные картинки и портрет автора, потом читает стихи — и не может сдержать праведного негодования. Психологически такая реакция «благородного Дюлиса» вполне понятна.

В том, что Дюлис-отец обмишурился, есть, конечно, и комическая черта. Но если представить, что в середине XVIII века он мог реально прочесть об Орлеанской девственнице, то выясняется довольно удручающая картина. Р. Саути, тридцатью годами позже издавая поэму «Жанна д'Арк», скажет в предисловии:

Из «Национальных древностей Франции» Миллина я узнал, что в 1791 году М. Лаверди был занят обозрением всего, что написано об Орлеанской деве. Я с волнением отыскал его работу, но она касалась только беспорядков периода интервенции и возможно потому была неполна. Из различных произведений, посвященных памяти Жанны д'Арк, я почерпнул только несколько названий и, если обзор был полон, не побоюсь сказать, что они одинаково неудачны. В полном списке произведений С. Эверта сказано, что, по слухам, у него была плохая поэма, озаглавленная «Современная амазонка». Имеется прозаическая трагедия «Орлеанская дева», которая приписывалась то Бенсерату, то Боуэру, то Менардеру. Аббат Добиньяк опубликовал трагедию в прозе под тем же названием в 1642 году. Другая — опубликована под именем Жана Бореля в 1581 году, а еще одна — анонимно в Руане в 1606 году. Среди рукописей королевы Швеции в Ватикане имеется драма в сти-

⁸ Фактически — две книжечки: *La Pucelle d'Orléans, poème devisé en vingt chants avec des notes. Nouvelle édition corrigée, augmentée et collationnée sur le manuscrit de l'auteur ornée de XX planches en tuiles et du portrait de l'auteur. Aux Délices. 1765. T. 1—2.*

хах, озаглавленная «Мистерия об осаде Орлеана». В наше время, говорит Миллин, весь Париж сбежался в театр Николя посмотреть пантомиму «Знаменитая осада Орлеанской девы». Могу добавить, что пантомима на тот же сюжет была поставлена в театре Ковент-Гарден, где героиню, подобно Дон-Жуану, уносил дьявол, низвергавший ее в ад. Полагаю, что по причине возмущения зрителей спустя несколько представлений в пьесе был введен ангел, чтобы ее спасти.

Но среди нескольких неудачных произведений на этот сюжет существуют два, которые пользуются печальной известностью: «Орлеанская девственница» Шепелена и Вольтера. Я набрался терпения и внимательно изучил первую и никогда не заглядывал во вторую⁹.

Из этого перечня становится очевидным, насколько оправданным было нетерпение Дюлиса-отца и насколько велико было его разочарование.

Предварительный авторский комментарий позволяет без лишнего предубеждения прочесть «подлинное» письмо Дюлиса-отца к Вольтеру.

Милостивый государь,

Недавно имел я случай приобрести за шесть луи д'ор, написанную вами историю осады Орлеана в 1429 году. Это сочинение преисполнено не только грубых ошибок, непростительных для человека, знающего сколько-нибудь историю Франции, но еще и нелепою клеветою касательно короля Карла VII, Иоанны д'Арк, по прозванию Орлеанской девственницы, Агнесы Сорель, господ Латримулья, Лагира, Бодрикура и других благородных и знатных особ. Из приложенных копий с достоверных грамот, которые хранятся у меня в замке моем (Tournebu, bailliage de Chaumont en Touraine), вы ясно увидите, что Иоанна д'Арк была родная сестра Луке д'Арк дю Ферону (Lucas d'Arc, seigneur du Feron), от коего происхожу по прямой линии. А посему, не только я полагаю себя в праве, но даже и став-

⁹ The Poetical Work of Robert Southey. London, 1845. P. 2.

лю себе в непрременную обязанность требовать от вас удовлетворения за дерзкие, злостные и лживые показания, которые вы себе дозволили напечатать косателыго вышеупомянутой девственницы. Итак, прошу вас, милостивый государь, дать мне знать о месте и времени, так же и об оружии вами избираемом для немедленного окончания сего дела.

Честь имею и проч. (XII, 153–154).

Автор «Орлеанской девственницы» для Дюлиса всего лишь некто Мг. de Voltaire, но письмо его грамотно, благопристойно и обнаруживает знание исторических преданий. Последний потомок знатного рода, обедневший, живущий в своем поместье, в меру невежественный, но сохраняющий чувство собственного достоинства провинциал — такой человек способен внушить читателю скорее симпатию, пусть и не без некоторой снисходительной иронии.

Замечено (впервые Н. О. Лернером и Н. К. Козминым), правда, что в письме содержится одна историческая неточность: среди братьев Жанны д'Арк не было Луки (лишь Жакмен, Жак и Пьер)¹⁰. На этом основании была сделана попытка угадать потаенный смысл пастиша. «А кто такой Дюлис, чванливый, не слишком знающий толк в книгах “щекотливый” француз? — задается вопросом А. Лацис. — Всего лишь покинувший родину авантюрист... Очевидно, что памфлет придуман не ради забавы. Кроме всего прочего, в неких непрошенных пришельцев, в кичливых самозванцев, в поддельных “рыцарей чести” — вот в кого метил многозначительный пушкинский пастиш»¹¹. Как видим, по сути дела разделяя концепцию Д. Д. Благого, сливавшего в «двуединое существо» Геккернов — отца и

¹⁰ Можно обнаружить в пастише и другие исторические неточности, возможно, допущенные Пушкиным намеренно (см.: *Пушкин А. С. Собр. соч. / Коммент. В. Д. Рака. СПб., 1994. Т. 4. С. 445–448*).

¹¹ *Лацис А. Мнимые обмолвки // Советская культура. 5 июня 1984.*

сына, — А. Лацис, однако, считает, что главную сатирическую нагрузку в произведении несет образ Дюлиса, и также конструирует из двух пушкинских персонажей, отца и сына, один обобщенный.

Пушкин, наверное, не ошибался, вспоминая о несуществующем Луке д'Арк. Скорее всего, он сознательно отступал от мелочной исторической точности, давая необходимое художественное смещение. Для внимательного читателя это знак того, что произведение — вовсе не журнальный репортаж, что построено оно по законам художественного вымысла (так в «Борисе Годунове» наряду с «реальным» Гаврилой Пушкиным выведен на сцену «придуманый» Афанасий Пушкин). Если пушкинский Дюлис — пошлый самозванец, то и грамоты, раскупленные на «эдинбургском аукционе», были фальшивыми; неужели такое могло произойти без громкого скандала? Как же тогда оценивать праведный гнев «эдимбургского журналиста», явно направленный в таком случае не по адресу, чего А. Лацис не замечает?

И самое главное. Как можно не заметить в воссозданной Пушкиным ситуации определенного личностного начала?

В 1830 году в «Северной пчеле» (№ 94) был помещен болгаринский анекдот о негре, купленном за «бутылку рома», метивший в прадеда Пушкина А. П. Ганнибала. Это вызвало гневное пушкинское стихотворение «Моя родословная» (позже отразившееся в «Родословной моего героя») и несколько страниц в «Опровержении на критики».

Если быть старинным дворянином значит подража(ть) английскому поэту, то сие подражание весьма невольное. Но что есть общего между привязанностью лорда к своим феодальным преимуществам и бескорыстным уважением к мертвым прадедам, коих минувшая знаменитость не может доставить нам ни чинов, ни покровительства?.. <...>

Образованный француз иль англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве, или в таком-то году возвратившегося из Палестины. <...> Конечно,

есть достоинство выше знатности рода, именно: достоинство личное, но я видел родословную Суворова, писанную им самим; Суворов не презирал своим дворянским происхождением.

Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, м.〈ожет〉 б.〈ыть〉, все наши старинные родословные — но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами? (XI, 161—162).

Эти размышления Пушкина относятся к 1830 году, но к концу жизни они не претерпели существенных изменений. Наряду с «Родословной моего героя» (1833) Пушкин намеревался поместить в третьем томе «Современника» собственное примечание к статье М. П. Погодина «Прогулка по Москве».

Надпись (на памятнике. — С. Ф.) *Гражданину Минину*, конечно, не удовлетворительна: он для нас или мещанин Косма Минин по прозвищу Сухорукой, или думный дворянин Косма Минич Сухорукой, или, наконец, *Кузьма Минин, выборный человек от всего Московского Государства*, как назван он в грамоте о избрании Миха(и)ла Федоровича Романова. Всё это не худо было бы знать, так же как имя и отчество князя Пожарского (XII, 92).

Все эти пушкинские рассуждения могут служить сопутствующим комментарием к его «Последнему из свойственников...»: нельзя не заметить некоторого сходства судеб Жанны д'Арк и Кузьмы Минина.

Это не значит, конечно, что Дюлис-отец выступает в пушкинском пастише в героическом ореоле. Его наивность, отсутствие литературного вкуса, его суждения о фривольной, антиклерикальной поэме как об искаженной исторической хронике несомненно забавны. Так проявляется его индивидуальная характерность, обоснованная художественно. Но это не колеблет святости национальных преданий, чрезвычайно дорогой для Пушкина. И уж во всяком случае, если наивность Дюлиса-отца и курьезна, то не в меньшей степени забавна хитрость его именитого респондента.

22 мая 1767

Милостивый государь

Письмо, которым вы меня удостоили, застало меня в постели, с которой не схожу вот уже около осьми месяцев. Кажется, вы не изволите знать, что я бедный старик, удрученный болезнями и горестями, а не один из тех храбрых рыцарей, от которых вы произошли. Могу вас уверить, что я никаким образом не участвовал в составлении глупой рифмованной хроники (*l'impertinente chronique rimee*), о которой изволите мне писать. Европа наводнена печатными глупостями, которые публика великодушно мне приписывает. Лет сорок тому назад случилось мне напечатать поэму под заглавием Генрияды. Исчисляя в ней героев, прославивших Францию, взял я на себя смелость обратиться к знаменитой вашей родственнице (*vosre illustre cousine*) с следующими словами:

Et toi, brave Amazone,

La honte des anglais et le soutien du trône.

Вот единственное место в моих сочинениях, где упомянуто о бессмертной героине, которая спасла Францию. Жалею, что я не посвятил слабого своего таланта на прославления божиих чудес, вместо того чтобы трудиться для удовольствия публики бессмысленной и неблагодарной.

Честь имею быть, милостивый Государь,

вашим покорнейшим слугою

Voltaire, gent. (ilhomme) de la ch. (ambre) du roi (XII, 154).

Письмо это, превосходно воспроизводящее стиль вольтеровского эпистолярия, имеет тем не менее, как и письмо Дюлиса-отца, своеобразную лирическую тему. Нельзя предположить, что Пушкин в данном случае не вспомнил о деле по поводу его поэмы «Гавриилиада», возбужденном властями в 1828 году. Достаточно вчитаться в официальное объяснение поэта, чтобы такое подобие увидеть.

«Рукопись, — оправдывался Пушкин, — ходила между офицерами Гусарского полку, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее

раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное¹².

Это официальное показание. Но вот строки, касающиеся того же предмета, в «Опровержении на критики».

Многое желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготет, как упрек, на совести моей. — По крайней мере не должен я отвечать за перепечатание грехов моего отрочества, а тем паче, за чужие проказы (XI, 157).

Отметим в этой связи, что в пастисье, видимо недаром, действие отнесено к 1767 году. Впервые «Орлеанская девственница» (1725) была напечатана в 1735 году. Но Пушкин намеренно пишет об издании 1765 года — именно оно и попадает в руки Дюлиса. Ниже мы еще коснемся собственно пушкинской оценки вольтеровской поэмы, но в данном случае важно подчеркнуть, что и для Вольтера в 1767 году «Орлеанская девственница» могла представляться «грехами молодости», так что в объяснении с простодушным Дюлисом (в 1767 году писатель как раз и закончил философскую повесть «Простодушный») ему легче было начисто отречься от авторства, нежели объяснять суть дела (в частности, пародийную направленность поэмы против напыщенного опуса Шепелена, ее антиклерикальный смысл и т. п.).

Образ хитрящего «фернейского мудреца» в пастисье неоднократно сравнивался с пушкинской характеристикой его в статье «Вольтер», помещенной в т. 3 «Современника». Замечено, что именно из письма Вольтера к де Броссу перенесена в пастисье фраза «Я стар и хвор». Можно в пастисье увидеть и своеобразный отзвук увещевания, адресованного Вольтеру по поводу его тяжбы.

«Вы боитесь быть обманутым, (...) но из двух ролей эта лучшая... Вы не имели никогда тяжб: они разорительны,

¹² Рукою Пушкина. М., 1997. С. 621.

даже когда их и выигрываем... Вспомните устрицу Лафонтена и пятую сцену второго действия в *Скапиновых Обманах* (сцену, в которой Леандр заставляет Скапина на коленях признаваться во всех своих плутнях. — С. Ф.). Сверх адвокатов, вы должны еще опасаться и литературной черни, которая рада будет на вас броситься... (XII, 78)

«Вольтер, — замечает Пушкин по поводу стычки с де Броссом, — первый утомился и уступил» (XII, 78). Нельзя не признать, что в истории с Дюлисом, сконструированной в пастеше, философ, уступающий сразу же, ведет себя в высшей степени благоразумно.

Повторяем: вся забавная ситуация эта, изложенная в пушкинской статье «Вольтер», имеет гораздо большее подобие в пастеше, чем вызывающее горестную оценку бесславное столкновение философа с королем Фридрихом II:

Вся эта жалкая история мало приносит чести философии. Вольтер, во всё течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства. В его молодости заключение в Бастилию, изгнание и преследование не могли привлечь на его особу сострадания и сочувствия, в которых почти никогда не отказывали страждущему таланту. Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо была всегда правдоподобна. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей. Что влекло его в Берлин? Зачем ему было променивать свою независимость на своенравные милости государя, ему чужого, не имевшего никакого права его к тому принудить?.. (XII, 80).

Как мы видели, Д. Д. Благой, читая пастеш как памфлет, опирается на эту характеристику Вольтера. Но она соотносена главным образом с заискиванием философа перед королем. В пастеше и речи об этом нет. Его маневр с Дюли-

сом — слабость, конечно, но, как и в истории с де Броссом, представляющая его с «милой стороны».

Если бы пастись кончался на письме Вольтера, мы имели бы дело только с анекдотом. Однако завершается весь опус на высокой ноте — «замечаниями» журналиста, которые принято оценивать в качестве авторских (в данном случае — пушкинских), объективных.

Между тем мнения автора и «эдимбургского журналиста» в пастеше разграничены вполне отчетливо. Журналист начисто лишен чувства юмора. Он восклицает:

⟨...⟩ вызов доброго и честного Дюлиса, если бы стал тогда известен, возбудил бы неистощимый хохот не только в философических гостиных барона д'Ольбаха и М-те Joffrin, но и в старинных залах потомков Лагира и Латримульа (XII, 155).

Таким образом, выясняется, что «правда» у журналиста (как у двух других главных персонажей пастеши) тоже «своя»: она не истина в последней инстанции.

Если присмотреться внимательно к системе обоснования этой «правды», становится заметным одно довольно забавное пристрастие журналиста.

Судьба Иоанны д'Арк в отношении (к) ее отечеству по истине достойна изумления. Мы конечно должны разделить с французами стыд ее суда и казни. Но варварство англичан может еще быть извинено предрассудками века, ожесточением оскорбленной народной гордости, которая искренно приписала действию нечистой силы подвиги юной пастушки. Спрашивается, чем извинить малодушную неблагодарность французов? Конечно, не страхом дьявола, которого исстари они не боялись. По крайней мере мы хоть что-нибудь да сделали для памяти славной девы; наш лауреат (Саути. — С. Ф.) посвятил ей первые девственные порывы своего (еще не купленного) вдохновения. Англия дала пристанище последнему из ее сродников. Как же Франция постаралась загладить кровавое пятно, замаравшее самую меланхолическую страницу ее хро-

ники? Правда, дворянство дано было родственникам Иоанны д'Арк; но их потомство пресмыкалось в неизвестности. Ни одного д'Арка или Дюлиса не видно при дворе французских королей от Карла VII до самого Карла X-го. Новейшая история не представляет предмета более трогательного, более поэтического жизни и смерти орлеанской героини; что же сделал из того Вольтер, сей достойный представитель своего народа? (XII, 155).

Прервем пока речь журналиста. Он претендует на полную объективность, видит прегрешения перед Жанной д'Арк и англичан, и французов, но — говоря словами одного из грибоедовских героев — меру заблуждения двух сторон расценивает так: «Мои суть слабости, а ваши — преступленья». Национальные пристрастия журналиста вполне очевидны.

Следующий пассаж филиппики посвящен сравнению двух писателей — Вольтера и Саути — и касается чрезвычайно интересующей Пушкина темы о нравственной ответственности литератора за свои произведения.

Раз в жизни случилось ему (Вольтеру. — С. Ф.) быть истинно поэтом, и вот на что употребляет он вдохновение! Он сатаническим дыханием раздувает искры, тлевшие в пепле мученического костра, и как пьяный дикарь пляшет около своего потешного огня. Он как римский палач присовокупляет поругание к смертным мучениям девы. Поэма лауреата не стоит конечно поэмы Вольтера в отношении силы вымысла, но творение Соути есть подвиг честного человека и плод благородного восторга. Заметим, что Вольтер, окруженный во Франции врагами и завистниками, на каждом своем шагу подвергавшийся самым ядовитым порицаниям, почти не нашел обвинителей, когда явилась его преступная поэма. Самые ожесточенные враги его были обезоружены. Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени кинизма. Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества (XII, 155).

Страстный тон этих обвинений делает их чрезвычайно убедительными. Давно также обращено внимание на сходство некоторых выражений журналиста с собственно пушкинскими. Так и кажется, что здесь из-под маски выглядывает, наконец, сам Пушкин. В самом деле, разве он не замечал в 1834 году об «Орлеанской девственнице» Вольтера:

⟨...⟩ он однажды в своей жизни ⟨?⟩ становится поэтом, когда весь его разрушительный гений со всею свободою излился в цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, принесены в жертву Демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих Заветов обругана... (XI, 272).

Столь же значимы и слова о «подвиге честного человека» (точно так Пушкин оценивал «Историю государства Российского» Карамзина).

И все же патетика английского журналиста кажется излишней. «Он как пьяный дикарь пляшет около потешного огня», здесь, как отмечено Б. В. Томашевским, заключен намек на вольтеровскую оценку Шекспира, но и по отношению к Вольтеру такой приговор представляется чрезмерным. В восклицании о «сатаническом дыхании» тоже содержится скрытая цитата из статьи Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной»:

Но уже «словесность отчаяния» (как назвал ее Гёте), «словесность сатаническая» (как говорит Соуей¹³), словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр. — эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинает упадать даже и во мнении публики (XII, 70).

Речь здесь идет о современной Пушкину французской литературе (Гюго, Жанен и проч.), но недаром в связи с французскими романтиками постоянно в пушкинское вре-

¹³ Southey — тот же Саути, поэт-лауреат.

мя вспоминался Вольтер. «Эта мерзкая словесность, — писал, например, журнал “Библиотека для чтения”, — уже надоела всем благомыслящим людям, всем отцам и матерям семейств. Еще Гете сказал, по случаю “Орлеанской девственницы”, что качество, которого наиболее недостает французам, — чувство приличия, и юная школа в полной мере оправдала суд великого поэта-философа»¹⁴. Поэтому мысли Пушкина в статье «Мнение Лобанова...» относительно нравственности в литературе правомерно сопоставить и с мнением «английского журналиста» о Вольтере.

«Нельзя требовать от всех писателей, — считал Пушкин, — стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других. Мысли, как и действия, разделяются на *преступные* и на *не подлежащие никакой ответственности*. Закон не вмешивается в привычки частного человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках и тому подобном; закон также не вмешивается в предметы, избираемые писателем, не требует, чтоб он описывал нравы женеvского пастора, а не приключения разбойника или палача, выхвалял счастье супружеское, а не смеялся над невзгодами брака. Требовать от всех произведений словесности изящества или нравственной цели было бы то же, что требовать от всякого гражданина беспорочного житья и образованности. Закон постигает одни преступления, оставляя слабости и пороки на совесть каждого» (XII, 69).

Заслуживает внимания и сохранившаяся в бумагах поэта заметка, предназначавшаяся для публикации в «Современнике», «Путешествие В. Л. П(ушкина)», где высказаны чрезвычайно дорогие для Пушкина мысли:

Для тех, которые любят Катулла, Грессета и Вольтера, — для тех, которые любят поэзию не только в ее лирических порывах или в унылом вдохновении элегии, не только в обширных созданиях драмы и эпопеи, но и [в] игривости шутки, и в забавах ума, вдохновенных ясной

¹⁴ Библиотека для чтения. 1836. Т. 15. Смесь. С. 56.

веселостию — искренность драгоценна в поэте. Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств — и в Ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа... Благоговею пред созданием Фауста, но люблю и эпиграммы etc. (XII, 93).

Вот этой широты эстетических вкусов явно не хватает «английскому журналисту». Он в чем-то прав, несомненно, но к нему может быть вполне отнесен шуточный совет пушкинской притчи «Сапожник»: «Суди, дружок, не выше сапога!» (III, 174).

И уж, конечно, саркастическая концовка статьи «английского журналиста»: «Жалкий век! Жалкий народ!» (XII, 155) — также предполагала существенный пушкинский корректив. «Спрашиваю, — замечал Пушкин по поводу подобных обвинений Лобанова, — можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему (...) ужели весь сей народ должен ответствовать за произведения нескольких писателей, большею частью молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей?» (XII, 69).

С другой стороны, это восклицание, вложенное в уста «эдимбургского журналиста», оборачивающееся национальным пристрастием, в сопоставлении с пушкинским стихотворением «Полководец» (т. 3 «Современника») получало и иной, куда более трагический смысл.

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!
 Жрецы минутного, поклонники успеха!
 Как часто мимо вас проходит человек,
 Над кем ругается слепой и буйный век,
 Но чей высокий лик в грядущем поколенье
 Поэта приведет в восторг и в умиленье! (III, 380)

Строки эти могли бы быть эпиграфом к пастишу Пушкина. В самом деле, каждый из представленных в нем оппонентов преследует свои, казалось бы, не мелочные цели.

Но как все же несоразмерны эти пристрастия с высоким подвигом Жанны д'Арк, который почти забыт всеми ими во взаимных обвинениях! Называя ее, вызывая ее судьбу в памяти читателей, Пушкин в своем пастише все время кружит вокруг темы предательства. В предисловии к поэме «Жанна д'Арк» Р. Саути сказал об этом вполне определенно:

Восьмого мая годовщина освобождения отмечается в Орлеане; там, как и в Руане, воздвигнут памятник Деве. Ее родственникам было пожаловано королем дворянское достоинство, но можно ли забыть в истории этого монарха, что в час несчастья он предал своей судьбе девушку, которая спасла его королевство?¹⁵

Таким образом, несмотря на то, что все три «говорящих персонажа» (Дюлис-отец, Вольтер, журналист) касаются остро интересующих Пушкина проблем, ни один из них полностью не выражает авторских оценок. По форме своей представляя газетный репортаж (род заметки из раздела «Смесь»), «Последний из свойственников Иоанны д'Арк» задуман и решен как произведение художественное со всем богатством его смысловых обертонов.

По своему жанру это отнюдь не памфлет. Нам представляется неточным и отнесение данного произведения к новеллистическому жанру: здесь нет острой фабулы, связывающей в единый узел стремления различных персонажей. Наоборот, сюжет здесь намечается в широкой исторической перспективе, разворачивается на огромных пространствах, сталкивает по закону случайности (неожиданно и непредсказуемо) крайне различных персонажей, каждый из которых действует сообразно со своим жизнепониманием, отстаивая интересы по сути дела больших социальных групп, и именно в столкновении этих стремлений возникает широкая, объективная, почти неисчерпаемая в своих богатых проявлениях правда жизни.

¹⁵ The Poetical Work of Robert Southey. P. 2.

При всем пушкинском лаконизме здесь мы имеем дело с романной формой литературы. За репортажем, анекдотом, пастишем, как нам кажется, ощущаются некие столь далекие перспективы насильно оборванного пушкинского творчества, которые позволяют предчувствовать в последнем произведении писателя открытия грядущих литературных эпох.